



ИВАН
БУНИН

Темные аллеи

ЛАУРЕАТ
НОБЕЛЕВСКОЙ
ПРЕМИИ



АЗБУКА-КЛАССИКА

Иван Алексеевич Бунин

Пароход «Саратов»
(Бунин И.А. Сборники)

Молодой офицер приходит к своей любовнице, которая живёт на его содержании, и узнаёт неожиданную и неприятную новость: женщина, с которой он привык делить постель, и в которую вложил так много денег, решила вернуться к мужу, а его больше видеть не хочет.

Пароход «Саратов»

В сумерки прошумел за окнами короткий майский дождь. Рябой денщик, пивший в кухне при свете жестяной лампочки чай, посмотрел на часы, стучавшие на стене, встал и неловко, стараясь не скрипеть новыми сапогами, прошел в темный кабинет, подошел к оттоманке:

— Ваше благородие, десятый час...

Он испуганно открыл глаза:

— Что? Десятый? Не может быть...

Оба окна были открыты на улицу, глухую, всю в садах — в окна пахло свежестью весенней сырости и тополями. Он с той остротой обоняния, что бывает после крепкого молодого сна, почувствовал эти запахи и бодро сбросил с оттоманки ноги:

— Зажги огонь и ступай скорей за извозчиком. Найди какого порезвей...

И пошел переодеваться, мыться, облил голову холодной водой, смочил одеколоном и причесал короткие курчавые волосы, еще раз взглянул в зеркало: лицо было свежо, глаза блестели; с часу до шести он завтракал в

большой офицерской компании, дома заснул тем мгновенным сном, каким засыпаешь после нескольких часов непрерывного питья, куренья, смеха и болтовни, однако чувствовал себя теперь отлично. Денщик подал в прихожей шашку, фуражку и тонкую летнюю шинель, распахнул дверь на подъезд — он легко вскочил в пролетку и несколько хрипло крикнул:

— Валяй живей! Целковый на водку!

Под густой маслянистой зеленью деревьев мелькал ясный блеск фонарей, запах мокрых тополей был и свеж и прян, лошадь неслась, высекая подковами красные искры. Все было прекрасно: и зелень, и фонари, и предстоящее свидание, и вкус папиросы, которую ухитрился закурить на лету. И все сливалось в одно: в счастливое чувство готовности на все что угодно. Водка, бенедиктин, турецкое кофе? Вздор, просто весна и все отлично...

Дверь отворила маленькая, очень порочная на вид горничная на тонких качающихся каблучках. Быстро скинув шинель и отстегнув шашку, бросив фуражку на подзеркальник и немного взбив волосы, вошел, позвани-

вая шпорами, в небольшую, тесную от излишества будуарной мебели комнату. И тотчас вошла и она, тоже покачиваясь на каблучках туфель без задка, на босу ногу с розовыми пятками, — длинная, волнистая, в узком и пестром, как серая змея, капоте с висящими, разрезанными до плеча рукавами. Длинные были и несколько раскосые глаза ее. В длинной бледной руке дымилась папироса в длинном янтарном мундштуке.

Целуя ее левую руку, он щелкнул каблуками:

— Прости, ради Бога, задержался не по своей вине...

Она посмотрела с высоты своего роста на мокрый глянец его коротких, мелко курчавых волос, на блестящие глаза, почувствовала его винный запах:

— Вина давно известная...

И села на шелковый пуф, взяв левой рукой под локоть правую, высоко держа поднятую папиросу, положив ногу на ногу и выше колена раскрыв боковой разрез капота. Он сел напротив на шелковое канапе, вытягивая из кармана брюк портсигар:

— Понимаешь, какая вышла история...

— Понимаю, понимаю...

Он быстро и ловко закурил, помахал горячей спичкой и бросил ее в пепельницу на восточном столике возле пуфа, усаживаясь поудобней и глядя с обычным неумеренным восхищением на ее голое колено в разрезе капота:

— Ну, прекрасно, не хочешь слушать, не надо... Программа нынешнего вечера: хочешь поехать в Купеческий сад? Там нынче какая-то «Японская ночь» — знаешь, эти фонарики, на эстраде гейши, «за красу я получила первый приз...»

Она покачала головой:

— Никаких программ. Я нынче сижу дома.

— Как хочешь. И это не плохо.

Она повела глазами по комнате:

— Милый мой, это наше последнее свидание.

Он весело изумился:

— То есть как это последнее?

— А так.

У него еще веселей заиграли глаза:

— Позволь, позволь, это забавно!

— Я ничуть не забавляюсь.

— Прекрасно. Но все-таки интересно знать, что сей сон значит? Яка така удруг закавыка, как говорит наш вахмистр?

— Как говорят вахмистры, меня мало интересует. И я, по правде сказать, не совсем понимаю, чего ты веселишься.

— Веселюсь, как всегда, когда тебя вижу.

— Это очень мило, но на этот раз не совсем кстати.

— Однако, черт возьми, я все-таки ничего не понимаю! Что случилось?

— Случилось то, о чем я должна была сказать тебе уже давно. Я возвращаюсь к нему. Наш разрыв был ошибкой.

— Мамочки мои! Да ты это серьезно?

— Совершенно серьезно. Я была преступно виновата перед ним. Но он все готов простить, забыть.

— Ка-акое великодушие!

— Не паясничай. Я виделась с ним еще Великим постом...

— То есть тайком от меня и продолжая...

— Что продолжая? Понимаю, но все равно... Я виделась с ним, — и, разумеется, тай-

ком, не желая тебе же причинять страдание, — и тогда же поняла, что никогда не переставала любить его.

Он сощурил глаза, жуя мундштук папиросы:

— То есть его деньги?

— Он не богаче тебя. И что мне ваши деньги! Если б я захотела...

— Прости, так говорят только кокотки.

— А кто ж я, как не кокотка? Разве я на свои, а не на твои деньги живу?

Он пробормотал офицерской скороговоркой:

— При любви деньги не имеют значения.

— Но ведь я люблю его!

— А я, значит, был только временной игрушкой, забавой от скуки и одним из выгодных держателей?

— Ты отлично знаешь, что далеко не забавой, не игрушкой. Ну да, я содержанка, и все-таки подло напоминать мне об этом.

— Легче на поворотах! Выбирайте хорошо ваши выражения, как говорят французы!

— Вам тоже советую держаться этого правила. Словом...

Он встал, почувствовал новый прилив той готовности на все, с которой мчался на извозчике, прошелся по комнате, собираясь с мыслями, все еще не веря той нелепости, неожиданности, которая вдруг разбила все его радостные надежды на этот вечер, отшвырнул ногой желтоволосую куклу в красном сарафане, валявшуюся на ковре, сел опять на канопе, в упор глядя на нее.

— Я еще раз спрашиваю: это все не шутки?

Она, закрыв глаза, помахала давно потухшей папиросой.

Он задумался, снова закурил и опять зажевал мундштук, отдельно говоря:

— И что же, ты думаешь, что я так вот и отдам ему вот эти твои руки, ноги, что он будет целовать вот это колено, которое еще вчера целовал я?

Она подняла брови:

— Я ведь все-таки не вещь, мой милый, которую можно отдавать или не отдавать. И по какому праву...

Он поспешно положил папиросу в пепельницу и, согнувшись, вынул из заднего кармана брюк скользкий, маленький, увесистый

браунинг, на ладони покачал его:

— Вот мое право.

Она покосилась, скучно усмехнулась:

— Я не любительница мелодрам.

И бесстрастно повысила голос:

— Соня, подайте Павлу Сергеевичу шинель.

— Что-о?

— Ничего. Вы пьяны. Уходите.

— Это ваше последнее слово?

— Последнее.

И поднялась, оправляя разрез на ноге. Он шагнул к ней с радостной решительностью.

— Смотрите, как бы и впрямь не стало оно вашим последним!

— Пьяный актер, — сказала она брезгливо и, поправляя сзади волосы длинными пальцами, пошла из комнаты. Он так крепко схватил ее за обнажившееся предплечье, что она изогнулась и, быстро обернувшись с еще больше раскосившимися глазами, замахнулась на него. Он, ловко уклонившись, с едкой гримасой выстрелил.

В декабре того же года пароход Добровольного флота «Саратов» шел в Индийском океа-

не на Владивосток. Под горячим тентом, натянутом на баке, в неподвижном зное, в горячем полусвете, в блеске зеркальных отражений от воды, сидели и лежали на палубе до пояса голые арестанты с наполовину выбритыми, страшными головами, в штанах из белой парусины, с кольцами кандалов на щиколках босых ног. Как все, до пояса гол был и он худым, коричневым от загара телом. Темнела и у него только половина головы коротко остриженными волосами, красно чернели жестким волосом давно не бритые худые щеки, лихорадочно сверкали глаза. Облокотясь на поручни, он пристально смотрел на горбамии летящую глубоко вниз, вдоль высокой стены борта, густо-синюю волну и от времени до времени поплевывал туда.

16 мая 1944